- 21 марта 1980 г. «ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ».

Евг. Долматовский. «Было. Записки поэта». Книга вторая. Издательство «Советский писатель». 1979. 520 стр. 1 руб. 90 коп.

ПРИЧАСТНОСТЬ

Не знаю, может быть, я и ошибаюсь, но, на мой взгляд, известный поэт, выпускающий вослед своим стихотворным сборникам, песням, давно и прочно завоевавшим сердца миллионов людей, два тома прозы — дневников, писем, воспоминаний, портретов, — многим рискует.

У него есть свой читатель, у этого читателя давно уже сложились о поэте свое представление, свой образ, своя, может быть, даже и легенда, есть и дистанция, работающая на поэтико-романтический ореол, и читатель, как правило, нелегко, неохотно с этими представлениями расстается. А тут — два объемистых тома, уводящих не то что к первым шагам будущего поэта, но и ко временам — начало века, — когда эти шаги еще и не просматривались, судьба поселила одного из родителей поэта в Ростове-на-Дону, другого закинула аж в Гейдельберг, долго ли разминуться...

А потом читатель десятилетие за десятилетием пройдет вместе с Евгением Долматовским — речь о нем, о его прозе — дорогами, которые чаще всего были и его, читателя, дорогами, и под конец выяснит, что поэт не где-то там в стороне, не над ним, читателем, а — рядом, и всегда был рядом.

Два тома прозы Евгения Долматовского вобрали в себя записи разных лет — от дневников подростка до конца семидесятых годов. Страницы биографии, множество портретов-зарисовок самых различных людей, с которыми сталкивала судьба, от товарищей по бригаде на строительстве Московского метро до известных писателей, общественных деятелей, полководцев, впечатления от поездок за рубежи Родины, раздумья над письмами читателей и переписка с ними, рассказы о том, как создавались те или иные стихотворения, песни, просто разговоры-размышления о наболевшем... Вряд ли поэт, собирая свои прозаические книги, думал о какой-либо систематизации материала. Да и вряд ли она здесь возможна, система. И тем не менее книга в своем двуединстве получилась удивительно цельной. Дело не в «умелом» расположении материала, не в подаче его, а в верности самому себе.

«Все происходящее на белом свете он принимает так близко к сердцу, что не мудрено, что оно уже дважды разрывалось, хотя он из послевоенного поколения». Это не о себе — о коллеге из Молдавии, литературоведе, профессоре, докторе наук, которому врачи категорически запретили работать, а он все пишет и пишет, таясь под одеялом (оказались в одной больничной палате).

Не раз и не два на протяжении книги (первой и второй) читатель, как и автор этих строк, поймает себя на том, что... завидует поэту. Еще и подумает: «А ведь в рубашке человек родился!» Куда бы судьба ни забрасывала поэта, как бы сурово с ним ни обходилась, необыкновенное «везение», счастливая «рубашка» не оставляли его.

Столько неожиданных, невероятных, удивительных встреч, жизненных хитросплетений, поворотов, готовых сюжетов, что и нарочно не придумаешь, что и организовывать, художнически подправлять ничего не нужно, садись и пиши: поверят — хорошо, не поверят — что ж, ничего не поделаешь, из жизни, как и из песни, слова не выкинешь.

Остановилась посреди поверженной Германии машина, ни майор Долматовский, ни шофер ничего поделать не в состоянии — трофейная техника, и тут откуда ни возьмись — родной брат, которого поэт не видел с начала войны, и не просто брат, но и автобезумец с тех самых лет, когда впервые вдохнул запах бензина...

Или вот еще. Потерялась любимая трубка, во славу которой поэт пишет целое стихотворение в прозе. Предмет будущей черной зависти Симонова и Эренбурга, ибо трубка не простая, а — самого фельдмаршала Паулюса (как досталась — отдельная история).

Где, когда, как потерял — не упомнить. Да и не до воспоминаний — идет бой.

Под конец дня, оставив окопавшийся батальон, пошел назад, на узел связи, чтобы передать в газету двадцать строк о том, что освобождено еще четыре километра родной земли, присел отдохнуть на поле, перепаханном артогнем, гусеницами танков, солдатскими лопатами, глаза сами закрылись от усталости, а когда открылись — вот она, трубка, лежит, дожидается: не теряй меня больше. Ну, не мистика ли?..

Как-то зимой бежал от московской сутолоки на дачу, затопил, задумался и вдруг — щелчок металлический. Сам собой раскрылся старинный сундук, принадлежавший матери, после ее кончины долго стоявший в коридоре коммуналки, затем перевезенный на дачу, снова забытый на годы. А в сундуке... Впрочем, все это надо читать, благо завязка (и какая!) налицо — рукописи не горят (и содержимое сундука это еще раз подтвердит нам), старинные сундуки сами собой, так просто, не раскрываются...

И тут, перебирая вместе с поэтом полуистлевшие бумаги, заботливо сохраненные матерью, вдруг открываешь, что «везение», счастливая «рубашка» в общем-то ни при чем. Может, его и вовсе не было, везения. Одна сплошная закономерность. Если и повезло поэту, то в одном, в глазном: его личная судьба оказалась неразрывно связанной с судьбами страны, народа. И в мирные, и в немирные дни всегда там, где горячо, трудно. Суметь слиться так же вот органично, неотторжимо, быть причастным ко всему, малому и большому, что тебя окружает, и все, «везение» обеспечено.

Вряд ли у кого из нас хватит фантазии представить нынешнего шестнадцатилетнего паренька в роли уполномоченного ЦК ВЛКСМ по пионерской работе. Да еще и с пистолетом под юнгштурмовкой и пятнадцатью патрончиками, приданными не для романтики, а в силу необходимости, с наказом «не стрелять, а только отстреливаться».

А вот «деткор» Е. Долматовский в такой роли выступал, и не где-нибудь, а в Сибири, мало похожей на нынешнюю, которую он, конечно же, предпочел «романтическому» Кавказу.

А потом был Метрострой (и не командировка, работа, самая черная, на откатке), был Литинститут, Дальний Восток, была война, финская и с фашизмом, были окружение и плен, так называемая «Уманская яма», после которой все отпущенные годы воспринимались как «сверхположенные», как премиальные, ибо друзья (не мать!) и похоронить успели, и стихи, посвященные памяти Е. Долматовского, написать...

Пистолет в конце сибирской командировки сдал не без облегчения тайного (боялся, что сопрут, да и больно неудобен был), а вот другое оружие — блокнот, карандаш, позже магнитофон — не выпускал из рук никогда. Даже заработав инфаркт, покидая на носилках дом, успел положить на грудь авторучку и блокнот. Глава о пребывании в больнице — одна из лучших, называется она «Дневник, переписанный с магнитофонной ленты (Разрыв сердца)»; писалась она, вернее, нашептывалась под одеялом. О сердце — совсем немного, повод, не более, а вот люди вокруг: врачи, нянечки, сестры, больные — все живут на страницах дневника яркой, полнокровной и даже «проблемной» жизнью. Здесь же (появилась возможность регулярно слушать радио) размышления о современной песне, с которыми нельзя не согласиться: чересчур много песен-танцев, песен-развлечений, слишком мало песен-раздумий, песен-переживаний... И здесь же короткий, но очень живой, емкий портрет зарисовка К. Симонова, навестившего больного товарища: «...Его посещение равнялось для меня мегатонне валидола и нитроглицерина. Буду жить!»

Портретная галерея занимает в двух книгах «Было» особое место, она необычайно обширна, динамична, пластична, здесь автору тоже очень крупно «повезло» — и на встречи, дружбу с многими замечательными людьми нашего времени, и в том, что увиделись, раскрылись они ему как никому другому. И поэт ценит этот свой — Долматовского — угол зрения, нигде не вдается в полемику, не пытается что-то ретушировать, поправить, пишет то, что увиделось и запомнилось, нередко — в интересах истины — и жертвуя собой. Вряд ли в свое время поэту доставило удовольствие клокочущее, яростно-разгромное письмо В. Вишневского о первых послевоенных стихах Долматовского. Нелегко, наверно, было и извлекать его из архива. Но в письме — весь Вишневский. И поэт приводит его целиком. В иных сложных, деликатных ситуациях на выручку приходят юмор, самоирония, самый тон, атмосфера записок, в равной степени обращенных и к читателю, и к себе самому...

Борис АНАШЕНКОВ